

Я весь этот рассказ сочинил в мае месяце прошлого года, и левша есть лицо мною выдуманное...

Во всяком случае, сказ о стальной блохе есть специально оружейничья легенда, и она выражает собою гордость русских мастеров ружейного дела. В ней изображается борьба наших мастеров с английскими мастерами, из которой наши вышли победоносно и англичан совершенно посрамили и унизили.

Н. Лесков

Должно быть, самый узнаваемый текст Лескова – из тех, что на слуху.

«Сказ о тульском косом Левше и о стальной блохе» был опубликован в 1881 году в газете «Русь», отдельным изданием вышел в 1882 году. В Советском Союзе «Левша» входил в читательский обиход со школьной скамьи на правах протопролетарского фольклора в авторской обработке – предтеча «Малыхитовой шкатулки» Бажова, поморских историй Шергина, новояза персонажей Платонова, Зощенко, и так аж до блаженных «чудиков» Шукшина. Не случайно анимация по Шергину «Волшебное кольцо» стилистически пересекалась с анимацией «Левши» (1964 год) – лубочные былички.

Сказ изымался из своего первоначально контекста – сборника «Праведники», куда включил его сам Лесков, и подавался синглом как история извечного противостояния России и Запада, помноженная на горестную судьбу талантливого умельца из народа. Религиозно-философский аспект опускался как «несюжетообразующий».

Император-победитель Александр I после разгрома Наполеона путешествует по Европе. У англичан «приобретает в дар» за миллион рублей серебром заводную пляшущую блоху – «нимфозорию». После смерти императора блоха обнаруживается наследником Николаем I, и уже от него русские мастера по-

лучают приказ – «превзойти». Туляки подковывают блоху, чем «посрамляют и унижают» английских мастеров. Левша, тот, кто ковал гвоздики к подковкам, совершает вояж в Англию, отвергает предложение англичан остаться, спешит на родину с секретом: «ружья кирпичом не чистить», но, невостребованный, помирает в больничке для нищих – это вкратце фабула сказа.

«Сравнительное литературоведение» и так называемая биографическая школа (господствовавшие в СССР методологии) исходят из того, что историческая личность писателя первична по отношению к его произведениям. И уж если сам автор декларирует «посрамление и унижение», то закладывает он в идею именно это. Вот и Александр I грустно говорит донскому атаману Платову, после того как тот доказал ехидным англичанам, что «пистоля» разбойничьего атамана из «Канделабрии» тульского производства:

«Зачем ты их сконфузил, мне их теперь очень жалко».

В финале сказа рассказчик с луддитским вздохом вообще сводит историю к обычной дани уважения кустарям доиндустриальной эпохи:

«Таких мастеров, как баснословный левша, теперь, разумеется, уже нет в Туле: машины сравняли неравенство талантов и дарований, и гений не рвется в борьбе против прилежания и аккуратности. Работники, конечно, умеют ценить выгоды, доставляемые им практическими приспособлениями механической науки, но о прежней старине они вспоминают с гордостью и любовью».

Должно быть, отсюда и проистекает закрепившийся за подковкой блохи статус некоего сверхмастерства, в сути, вопиюще относительного, ведь блоха, до того как попала в руки тулякам, «делала дансе», а после обработки танцевать перестала. Именно об этом говорят Левше и сами англичане:

«...в каждой машине расчет силы есть; а то вот хоша вы очень в руках искусны, а не сообразили, что такая малая машинка, как в нимфозории, на самую аккуратную точность рассчитана и ее подковок несть не может. Через это теперь нимфозория и не прыгает и дансе не танцует».

Левша согласился.

– Об этом, – говорит, – спору нет, что мы в науках не зашлись, но только своему отечеству верно преданные».

Стальная блоха, как ни крути, механизм, а не организм. Она не жива сама по себе, и все работы по ее подкованию, следуя элементарной логике, уступают ювелирно-механической начинке блохи. Но сказ этот аспект не просто игнорирует, а дискурсивно отвергает.

«– Извольте, – говорят, – взять ее (блоху) на ладошечку – у нее в пузичке заводная дырка, а ключ семь поворотов имеет, и тогда она пойдет дансе».

Для рассказчика блоха – не какие-то часики, а техносоматическая целостность, наделенная хоть и позорной «агличкой», но псевдосубъектностью, и поэтому внутренней божественной сакральностью «пузичка», понимай «живота», жизни. Словом, в блохе никаких шестеренок с пружинками в помине нет. Ей, как наноагенту западной цивилизации и ее базовой философской парадигме, жестко оппонирует и сказ, и рассказчик.

И при этом блоха остается «тельцем-машинкой», продуктом картезианского мира, увы, подкосившего патриархально-промышленный уклад послепетровской Руси. Поэтому и финальный вздох сказа.

Блоха не уникальный персонаж в литературе того времени. Она присутствует в романе немецкого писателя Гофмана «Повелитель блох. Сказка в семиключениях двух друзей» (Meister Floh. Ein Märchen in sieben Abentheuern zweier Freunde, 1822).

Meister Floh, то есть Мастер Блоха, – «повелитель» блошиного народца, который поработен таинственным двойником Левенгука и насильственно ради шоу-бизнеса (блошиного цирка) европеизирован. За свое освобождение Мастер Блоха наделяет главного героя Перегринуса Тиса, как принято сейчас говорить, сверхспособностью – когда требуется, ему вживляется в глаз стеклышко, сделанное лучшим блошиным оптиком (фактически микрочип), позволяющий читать мысли:

«Я вложу это стеклышко в зрачок вашего левого глаза, и глаз этот тотчас же приобретет свойства микроскопа... Вы знаете теперь, милый господин Перегринус, какое замечательное действие производит этот инструмент, подобного которому вы не найдете в целом мире, и вы увидите, какую власть он даст вам над людьми, когда самые их затаенные мысли будут лежать открыто перед вашими очами».

И еще одна не менее знаменитая блоха. Уже из «Песни Мефистофеля в погребке Ауербаха» из «Фауста» Гёте. «Песня о блохе» написана композитором Мусоргским в 1879 году на слова из перевода Струговщикова. Партитура была опубликована после смерти Мусоргского в 1883 году, но ранее песня исполнялась самим Мусоргским. То есть блохи Мусоргского и Лескова фактически погодки:

*Жил, был король когда-то.
При нем блоха жила.
Милей родного брата
Она ему была...*

*Король ей сан министра
И с ним звезду дает,
И с нею и другие пошли
все блохи в ход...*

У Гофмана блоха – представитель параллельной сверхцивилизации; в сатирической песне она пришлый захватчик-инородец, условный «ротшильд», поднявшийся к вершинам власти.

Блоха – абсолютный Чужой. Но, так или иначе, интерпретации «Левши» сводятся к поговоркам «Нет пророка в своем Отечестве», «Имеем – не храним» и прочему воспеванию русского «мастерства» и безответного патриотизма. И лишь в последнюю очередь к доминирующей оппозиции «свое – чужое».

В отечественной культуре Левша – имя нарицательное, то есть Мастер с большой буквы.

Но в сказе у Левши имени нет. Значится он «левшой» не с заглавной, а именно со строчной буквы: *«косой левша, на щеке пятно родимое, а на висках волосья при ученье выдраны».*

Православная культура онтологически ориентирована на имена, а не на понятия. Имя – то, что связывает человека с трансцендентным. Не случайно в имяславии всякая вещь существует в своем имени, а имя Божие есть сам Бог. Имя – данность, а не «выдуманность». Имя, как и душа, бессмертно. Отсутствие же имени фактически равнозначно отсутствию субъектности.

Но, именуя героя левшой, сказ не оппонирует православной парадигме, а, скорее, предлагает ей подыграть правилам картезианской технокультуры, из русифицированного гибрида которой вещает рассказчик и сам сказ (сказ и есть основной рассказчик и главный герой – выразитель идеи).

Сказ четко постулирует: раз безымянный, значит, из народа. Левша – не имя, а обобщенное понятие уникального и одновременно эгалитарного. Другое дело, что русское пространство устроено таким образом, что само, по факту, запускает процесс перелицовки понятия в имя. Пройдя через драму своего носителя, понятие выстраданно делается именем, левша превращается в Левшу, наравне с Неизвестным Солдатом.

Он и есть солдат доиндустриальной эпохи, безымянная песчинка русского космоса. Не человек-механизм Европы Цезарей и Декарта, а тварь Божия.

Но конкретно в сказе Левша с блохой стоят на равных субъектно-объектных позициях – русский оружейник и англичанка микромашина.

«Скажите Государю, что у англичан ружья кирпичом не чистят: пусть чтобы и у нас не чистили, а то храни Бог войны, они стрелять не годятся. – С этой верностью левша перекрестился и помер».

Художественно-визуальные интерпретации «Левши» всю старались отработать гуманистический пафос сострадания. Но сам сказ отличает удивительная холодность. В нем нет жалости к косому, меченному родимым пятном, левше. Его смерть напрасна и не оплакивается никем – ни персонажами, ни самим рассказчиком. Разве суетится случайный сосед по кораблю – английский «полскипер».

И не потому, что русская среда как-то по-особенному жестока или представляет собой мир мытарств и испытаний. Дуализм мифологического мышления понимает тело как фундамент социальных ценностей. Поэтому крестьянская общинная культура (а вслед за ней и свежая фабричная культура городских окраин) настороженно относится к хромым, косым, горбатым, рыжим, пигментным. Это все личины «чужого», демонического мира. Правая сторона сакральна, левая – профанна. Правая сторона отвечает за жизнь, слева в наше бытие проникает грех и страдание, за правым плечом стоит ангел, за левым – бес.

Левша избыточно отмечен маркерами «чужого». Безымянный, косой, с пятном. Он и крестится левой рукой – свой-чужой в патриархальном православном мире. Даже его сверхспособность видеть микромир – глаза-мелкоскопы – тоже отклонение от нормы. Примечателен и сам неологизм «мелкоскоп»: *«Мы люди бедные и по бедности своей мелкоскопа не имеем, а у нас так глаз пристрелявши»*, – больше отсылающий не к греческому морфу, а к русскому скопчеству. Несуразный косой-кривой левша, отбивающийся от «нечистого» брака с англичанкой, чрезвычайно похож на сектанта-скопца – мелкий, бесполой, безбородый, стыдливый, разве только пьющий, как русский мастеровой.

Но сказ оперирует таким заведомо «порченым» персонажем отнюдь не для его реабилитации или поиска сочувствия у просвещенного читателя – и родимопятные левши верно Отечеству служат! Вовсе нет.

Левша – продукт стыка эпох, культурная амфибия, киборг. Он принадлежит одновременно двум слоям, городскому и общинно-крестьянскому. Не случайно его речь (а также речь рассказчика и самого сказа) – смесь разговорно-бытового языка с технобюрократическим лексиконом, неосвоенные лингвосемантические лакуны которого эхологически (то есть по-детски) подлатываются неоканцеляризмами и топотехнонеологизмами в духе народной этимологии.

Так в повествовании и возникают «буреметры морские», «мерблюзы мантины», «смолевые непромокабли», «нимфозории», «мелкоскопы», «клеветоны», «Твердиземное море», «Аболон полведерский», «Канделабрия», граф «Кисель-вроде».

Однако весь этот словесный карнавал à la народная речь работает не только на увеселение. Именно посредством игровой диглоссии происходит необхо-

димый рассказчику двунаправленный процесс деконструкции сакрального: десакрализация общинно-крестьянского уклада старой России и, одновременно, сакрализация науки (понимай: «русификация» научного мышления). Перекодировка русского пространства происходит через «Иностранное Слово» – слово малопонятное или же вообще непонятное, а стало быть, магическое.

Но тем парадоксальней, что средствами нового «научного» языка сказ постулирует не превосходство русских нанотехнологий начала XIX века, а торжество православной метафизики над европейской. И Левша в этом не какая-то благородная аномалия, патриот-оружейник, наплевавший на английские блага, а уникальный живой прибор, пусть кривой-косой (так на то он и оптический), при помощи которого постигается, препарируется «блоха», то бишь западная цивилизация, и утверждается русское духовное «одоление».

Левша – не продукт выдранных в учении волос, приходского образования или какого-то другого аспекта петровской вестернизации, а естественный итог работы русской метафизики, синтезирующей попутно и ортодоксальные (чистые, правильные) технологии отечественного разлива.

Поэтому в русской литературе прямые наследники Левши не какие-то талантливые самоделкины с трагичной судьбой, а люди-функции, люди-приборы. К примеру, персонаж пелевинского «Омона Ра», космонавт-смертник Омон Кривомазов – «одушевленная» автоматика лунного модуля (кстати, агрегата фиктивного, неработающего; да и сам полет на Луну происходит исключительно в умах космонавтов, то есть в советском платоновском космосе), человек-инструмент, выведенный для техноидеологического противостояния с Западом. При этом личное неприятие Омоном советской реальности не мешает ему прилежно и достойно исполнять свою миссию.

Его предшественник Левша противостоит Западу в поле не идеологии, но метафизики, поэтому и основное противостояние в сказе – технометафизическое. Это недвусмысленно проговаривается в седьмой главе сказа.

«Туляки, люди умные и сведущие в металлическом деле, известны также как первые знатоки в религии. Их славой в этом отношении полна и родная земля, и даже святой Афон... Туляк полон церковного благочестия и великий практик этого дела, а потому и те три мастера, которые взялись поддержать Платова и с ним всю Россию, не делали ошибки, направляясь не к Москве, а на юг.

Они шли вовсе не в Киев, а к Мценску, к уездному городу Орловской губернии, в котором стоит древняя «каменесеченная» икона св. Николая; приплывшая сюда в самые древние времена на большом каменном же кресте по реке Зуше.

Икона эта вида «грозного и престрашного» – святой Мир-Ликийских изображен на ней «в рост», весь одетый серебropозлащенной одеждой, а лицом темен и на одной руке держит храм, а в другой меч – «военное одоление». Вот в этом «одолении» и заключался смысл вещи: св. Николай вообще покровитель торгового и военного дела, а «мценский Никола» в особенности, и ему-то туляки и пошли поклониться. Отслужили они молебен у самой иконы, потом у каменного креста и, наконец, возвратились домой «ночью» и, ничего никому не рассказывая, принялись за дело в ужасном секрете. Сошлись они все трое в один домик к левше, двери заперли, ставни в окнах закрыли, перед Николиным образом лампадку затеплили и начали работать».

Кант выводит категорию эстетического, выделив «красоту» и «пользу». Декарт говорит о субстанциональном различии души и тела.

Сказ вообще не разделяет русскую метафизику и технологии, одно неотделимо от другого.

Левша поясняет англичанам суть русской «науки»:

«— Наша наука простая: по Псалтирю да по Полусоннику, а арифметики мы нямало не знаем.

Англичане переглянулись и говорят:

— Это удивительно.

А Левша им отвечает:

— У нас это так повсеместно.

— А что же это, — спрашивают, — за книга в России “Полусонник”?

— Это, — говорит, — книга, к тому относящаяся, что если в Псалтире что-нибудь насчет гаданья царь Давид неясно открыл, то в Полусоннике угадывают дополнение».

Монастырь, монашество в средневековой Европе – НИИ метафизики с технической «побочкой» то в виде пороха, то самогонного аппарата. Поврежденный западно-христианский вектор развития привел Европу к катастрофическому рационализму. Человек уже не психосоматическое единство, а картезианское тело-машина. И творец такого биоробота – Верховный Архитектор, Великий Часовщик, просто космоморфическая абстракция, обожествленная природа, Разум или Ratio.

«— Потому, — отвечает [Левша], — что наша русская вера самая правильная, и как верили наши правотцы, так же точно должны верить и потомцы.

— Вы, — говорят англичане, — нашей веры не знаете: мы того же закона христианского и то же самое Евангелие содержим.

— Евангелие, — отвечает левша, — действительно у всех одно, а только наши книги против ваших толще, и вера у нас полнее.

— Почему вы так это можете судить?

— У нас тому, — отвечает, — есть все очевидные доказательства.

— Какие?

— А такие, — говорит, — что у нас есть и боготворные иконы и гроботочивые главы и мощи, а у вас ничего, и даже, кроме одного воскресенья, никаких экстренных праздников нет, а по второй причине — мне с англичанкою, хоть и повенчавшись в законе, жить конфузно будет».

Европейская духовность – триумф деистской веры Декарта, Вольтера и Ньютона, философов, физиков, химиков, механиков, собирающих измерительные приборы, станки и паровые двигатели. Техника, прогресс на Западе подменили религию и веру. Что говорить, если само существование Бога доказывается возможностью проведения математических операций.

Вот как говорят англичане Левше:

«— Это жалко, лучше бы, если б вы из арифметики по крайности хоть четыре правила сложения знали, то бы вам было гораздо полезнее, чем весь Полусонник»

Западная технореальность – мир самоупразднившей метафизики. От нее осталась лишь видимость, оболочка. Забавно, что «Бог умер», «Бог мертв», знаменитое высказывание Ф. Ницше, появляется в 1881–1882 годах в «Веселой науке». Книга – ровесница наших русских «блех».

Устранившийся от людей Бог-Часовщик не может быть антитезой смерти. Мир западной техноцивилизации, функционирующий как метафора часового механизма, мир мертвый, а не Божий. Но Декарту Бог и не нужен, ему довольно абстрактного Света Разума.

Ratio, рационализм, бытовой прагматизм – это то, чего напрочь лишен Левша.

«А англичане сказывают ему:

— Оставайтесь у нас, мы вам большую образованность передадим, и из вас удивительный мастер выйдет.

Но на это левша не согласился.

– У меня, – говорит, – дома родители есть.

Англичане назвались, чтобы его родителям деньги посылать, но левша не взял.

– Мы, – говорит, – к своей родине привержены...»

Англичане – представители картезианской, рациональной культуры. Они предлагают дельные вещи, но Левша отвергает все соблазнительные предложения – выгоду, благополучие, уважение, достаток, невесту. Жизнь, в конце концов, – ведь мы уже знаем, чем чревато его возвращение на родину.

При этом Левша не глуп. Просто он умен особым «русским умом», который не имеет ничего общего с европейским Ratio.

Вообще, то, что связано с умом, мозгами, в русском обиходе исконно не пользуется уважением. Приветствуется смекалка, особая разновидность сообразительности. Это мерцающий квантовый ум, который возникает по запросу под воздействием вдохновения (высших божественных энергий) для решения насущной проблемы и гаснет, когда проблема решена. Ratio же – сугубо европейское явление.

Свету Разума рассказчик и сказ противопоставляют Свет Присносущный, Свет Нетварный.

Запад упраздняет религию, православная монастырская догматика осмысляет идеи Божественной энергии. «Нетварный Свет», он же Фаворский – согласно текстам Нового Завета, таинственный Божественный свет в момент Преображения Иисуса Христа, визуальное выражение Божественной силы или Божественной энергии, Его действия в тварном мире.

Акты Константинопольского собора 1351 года: «Свет Фаворский не есть ни сущность Божия, ни тварь, но энергия сущности. Энергия сущности нераздельна с сущностью и неслиянна с нею. Энергия сущности нетварна. Энергия сущности не вносит разделения в самую сущность и не нарушает ее простоты. Имя “Божество” относится не только к сущности Божией, но и к энергии, то есть энергия Божия тоже есть сам Бог. В сущности Божией тварь не может участвовать, в энергии же – может».

В Божией энергии и участвуют верующие оружейники-туляки, затворившись от мира в домике Левши, с лампадкой перед образом Николы.

«Свистовые же как прискочили, сейчас вскрикнули и как видят, что те не отпирают, сейчас без церемонии рванули болты у ставень, но болты были такие крепкие, что нимало не поддались, дернули двери, а двери изнутри заложены на дубовый засов. Тогда свистовые взяли с улицы бревно, поддели им на пожарный манер под кровельную застреху да всю крышу с маленького домика сразу и своротили. Но крышу сняли, да и сами сейчас повалились, потому что у мастеров в их тесной хорожинке от безотдышной работы в воздухе такая потная спираль сделалась, что непривычному человеку с свежего поветрия и одного раза нельзя было продохнуть».

И хоть сказ шутливо принимает Нетварный Свет за «потную спираль», именно его божественные энергии срывают крышу домика Левши и опрокидывают «свистовых».

Во всех традиционных обществах технологии изготовления вещей относятся к области сакрального знания. Поэтому кузнецам, мельникам, гончарам издревле приписывают особые шаманские качества, их мастерство всегда выходит за дозволенные границы человеческого мира.

Посрамление Чужака происходит через «подкование». Это хоть и «нано», но кузнечная работа. «Подкование» – не метафора ассимиляции в русской сре-

